

А.Н. Хохлов
ИВ РАН

**Третья поездка В.В. Верещагина
в Илийский край в 1869 г.
(по материалам архива русского художника)**

Выдающийся российский художник Василий Васильевич Верещагин (1842–1904) вошел в историю русской культуры не только как великий мастер батальной живописи, но и как смелый и энергичный путешественник, оставивший после себя немало картин, посвященных поездкам по России и зарубежным странам. Особое место в его заграничных путешествиях занимали страны Востока, в том числе сопредельные с Российской империей Китай, Индия и Япония. Яркие впечатления от встреч с населением азиатских стран с их необычной самобытной культурой нашли широкое отражение не только в его уникальных живописных полотнах, но и в книгах, журнальных и газетных статьях, содержащих чрезвычайно емкую и точную информацию по истории, экономике и культуре того или иного региона азиатского континента. В этих многочисленных публикациях можно найти и оценки уровня цивилизации в странах Запада и Востока, критические суждения по поводу политических событий, происходивших в странах Азии под влиянием колониальной экспансии западных держав во второй половине XIX – начале XX в. Своими правдивыми зарисовками (карандашом, пером или кистью) художник смог достоверно и талантливо показать общественный уклад многих народов, населявших различные части азиатского материка, вскрыть причины острых социальных контрастов в положении различных групп коренного и пришлого населения, нередко обусловленных сохранением изживших себя древних традиций и общественных институтов (в том числе рабства и разных форм крепостной зависимости) и крайне низким статусом женщины. В.В. Верещагин убедительно раскрыл огромную силу ислама как официальной идеологии, серьезно влиявшего на повседневную жизнь многих народов Центральной Азии. С этой религией художник впервые особенно явно столкнулся в период военной службы в Туркестанском крае, куда в августе 1867 г. его направили в распоряжение генерал-губернатора К.П. Кауфмана. Написанные им

этюды, в том числе связанные с его участием в обороне Самарканда от наступавших войск бухарского эмира, вместе с личной коллекцией этнографических предметов позволили В.В. Верещагину после отъезда из Ташкента в Петербург и поездки в Париж в начале 1869 г. принять участие в организации в российской столице своей выставки, принесшей ему известность в кругах столичной общественности¹.

Летом–осенью 1869 г. В.В. Верещагин, путешествуя по Семиреченской области, посетил ряд городов и населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе с цинским Китаем. Интерес к самобытной культуре соседних азиатских народов, обитавших в пределах Цинской империи, побудил художника совершить рискованную по тем временам поездку в г. Чугучак (Тарбагатай), серьезно разрушенный в ходе дунганского восстания на территории Илийского края².

После возвращения из Чугучака на русскую границу с разнообразными этюдами В.В. Верещагин вскоре вновь отправился в Илийский край, где посетил ряд новых населенных пунктов (Турген, Джаркент, Аккент и др.). Везде, где ему приходилось останавливаться, он, как и в Чугучаке, интенсивно работал над этюдами для будущих картин. Чтобы немного представить характер его творческих занятий, достаточно обратиться к его записям, касающимся пребывания художника в г. Аккенте. Вот что он оставил в неопубликованном варианте своего рассказа:

«Прохладным после знойной степи леском я добрался до Аккента (Ак – белый, кент – поселение). Этот городок действительно оказался намного целее других. Так, например, отлично сохранился дом [местного] правителя-игильдая (полковника) с галереею внутри двора, с фигурным раскрашенным навесом, со сплошь разрисованными стенами, с драконами на крышах и прочими строениями. Прелестная беседка в цветнике сохранилась в том виде, в каком, вероятно, была оставлена кейфовавшими здесь за трубкою опиума китайцами.

Главная кумирня города тоже хорошо сохранилась, поэтому я устроил здесь свою временную резиденцию на всё время [рисовальных] работ в этом местечке. Постоянно, днем и ночью горели у меня для приготовления пищи и очищения воздуха два огромных костра, благо сухого дерева было вполне достаточно. Только вблизи отсутствовала вода, и за нею приходилось посылать людей за пять верст. Всё же остальное имелось у нас рядом.

Работы свои, заметки и этюды масляными красками я чередовал с охотою, особенно на фазанов, которых в камышах было видимо-невидимо. Часто попадались и дикие свиньи, но я не стрелял в них из опасения, как бы раненый кабан не вздумал проверить крепость своих клыков на моих ногах. На это они большие мастера»³.

Внезапно наступившая болезнь (вследствие холодных ночей) вынудила художника прекратить свои занятия живописью и вернуться на русскую границу, чтобы оттуда отправиться в Ташкент. Но от намеченного маршрута ему пришлось отказаться из-за очередного вторжения на российскую территорию банды иноземных грабителей с целью захвата чужого

скота (лошадей и овец) для угона на свою сторону, за границу. Как это событие – довольно обычное для периода восстаний некитайских народов против маньчжурского режима на территории северо-западного Китая – отразилось на творческих планах В.В. Верещагина, позволяет судить рукописный вариант его рассказа, приводимый нами ниже без комментариев:

Схватившая меня [в Аккенте] страшная лихорадка не оставляла мне возможности слишком долго находиться и работать в этих местах. Наскоро окончив начатые этюды, я поспешил вернуться в Борохудзир, чтобы оттуда ехать в Ташкент. Однако расчеты мои неожиданно опрокинулись, и мне пришлось снова отправиться в Аккент – по желанному пути к Хоргосу и [возможно,] к Кульдже. Через три дня по приезде в пограничный отряд со станции Лепсинской, расположенной к северу от Борохудзира, пришла «летучка» с уведомлением от начальника полка о том, что во время погоны заграничными киргизами, угнавшими у него весь табун лошадей, он, перейдя при преследовании грабителей границу, отбил у барантовщиков почти всех угнанных лошадей, причем в порядке наказания их за баранту захватил 20 тыс. голов разного скота. Киргизов же Кизяевского рода, совершивших дерзкий налет и грабеж, разбил и прогнал прочь в сторону Лоб-Нора. Командир полка предлагал начальнику погранотряда встретить грабителей-беглецов и еще раз поколотить их, чтобы на долгое время отбить у них охоту заниматься барантой в русских пределах... Конечно, никто и думать не смел идти к Лоб-Нору, а тем более ловить каких-то киргизов, [временно] ушедших за кордон [в период дунганского восстания в Западном Китае]... Между тем офицеры отряда смекнули, что представился редкий случай [теперь или никогда] «пошипать» соседей, на совести которых уже давно осталось несколько дерзких набегов-грабежей и даже убийств [россиян]⁴. Поэтому был отдан приказ о выступлении в поход в ту же ночь. Хотя лихорадка еще не совсем оставила меня, я все-таки решил присоединиться к [военной] экспедиции в чаянии больше увидеть и порисовать в китайских пределах...

Начальник отряда бравый майор П. с артиллерией и казаками выступил ранним утром. К конным воинам пристроился и я. Мы догнали нашу пехоту, [60 человек,] уже у второго [китайского] городка, обогнали её и вместе сделали привал за Аккентом, в Сассах, в камышах, откуда мне возили воду во время моих занятий живописью в Аккенте.

Мы продвигались без шума, очень скоро и в сумерках подошли к полуразрушенной постройке на реке Хоргос, где пехота, сделавшая с утра около 80 верст, остановилась на отдых, а мы через реку двинулись дальше. В этом месте, обнесенном оградой, был оставлен обоз под прикрытием 30 солдат, так что за нами пошло пешей рати только 30 человек.

Около реки была какая-то растительность, но далее за камышами она исчезла, и [в направлении] к городу Чампанцзы (Чанпанцзы) мы вышли на территорию, совершенно открытую и гладкую. Из-за наступившей темноты и стены и дома этого города мне показались громадными, тем более что при приближении к нему я просто от усталости спал в седле.

Вполне естественно, что спросонок перед глазами проплыли мимо

громадные тени большого числа ворот, кумирен и театров. Справа от нас была высокая стена крепости. У её ворот мы, т.е. казаки и артиллеристы, расположились на отдых, чтобы с первой зарей... выступить в расположенное в 12 верстах отсюда селение Мазар, где, по слухам, находился отряд таранчей в 400 человек.

Пока наши воины располагались на отдых, я немного побродил по крепости и ближайшим к ней улицам. Насколько можно было видеть в темноте, многие здания сохранились хорошо, при этом была немного видна живопись и барельефы на зданиях, а также [скульптурные] изображения драконов... Окрестные жители, вероятно, немало «потрудились» над здешними постройками, чтобы увезти с собой деревянные доски и кирпичи, грудами сложенные во многих местах...

Лишь только стало светать, мы сели на лошадей и отправились в дальнейший путь. Впереди [ехали] казаки, затем двигалась артиллерия. Сначала лошади передвигались размеренным шагом, а потом рысцей. Справа от нас, в направлении знаменитой кульджинской долины можно было видеть немало поселений, но в этот ранний час утра нам не попалось ни души из местных жителей. Через некоторое время вдали показались тонкие кривые столбы дыма из домов двух деревень, из них одна называлась Большим мазаром, а вторая – Малым (мазаром называют здесь гробницы).

Во главе нашего отряда ехали с нами два китайца – чиновник со слугою, которые служили нам проводниками. Китайского чиновника по мере приближения к тем местам, откуда он несколько лет тому назад из-за восстания мусульман едва унес свою голову, явно смущала малочисленность нашего отряда, поэтому он, все более смущаясь, все более начинал трусить. «Учтите, – настойчиво твердил он нам, – если встретятся таранчи, то лучше не трогать их, а то они известят своих [сородичей] в Кульдже и вам они отрежут путь назад!» – «Ладно, – успокаивали мы его, – там будет видно, кто кому отрежет путь».

Версты за две до ближайшей деревни мы отправились туда маршем и едва не завязли всею компаниею в каком-то заболоченном поле. Однако вскоре мы быстро вошли в поселок... Деревенька оказалась крохотной, всего в несколько дворов. Все её жители, не ожидая прихода чужеземцев, были страшно поражены такой встречей с нами и буквально дрожали от страха, видимо, ожидая для себя печальных последствий [из-за баранты].

Неприятеля тут не было. Из расспросов местных жителей, к которым обратился наш майор, выяснилось, что в данной деревне живет лишь несколько семейств, состоящих при гробнице святого, а в соседней, рядом действительно стоит отряд из 100 конных таранчей, занимающихся наблюдением за границей... В эту вторую деревню, или лучше сказать поселение, окруженное высокою стеною, мы послали десять казаков, но их туда не впустили, оставив перед закрытыми воротами. Тогда казакам было приказано оставаться на месте у ворот и охранять их, чтобы никто из местных жителей не мог незаметно выйти за пределы поселка и дать знать о нас в Кульджу. Так как нам удалось собрать здесь почти всех лошадей, [в т.ч. покраденных], то местные жители не могли послать туда своих конных

гонцов для оказания им помощи. Тем временем несколько партий казаков направились в разные стороны, чтобы собрать [угнанный заграничными киргизами] скот, который по мере его пригона [в сборный пункт] загоняли в весьма обширную ограду гробницы, близ которой было поставлено нами орудие [на случай возможных попыток отбить у нас этот скот].

Чтобы не терять времени для собственных наблюдений, я пошел осматривать гробницу, представляющую собой большую святыню не только для местных, но и для всех среднеазиатских мусульман. Она воздвигнута Тамерланом, или Хромым Тимуром, над могилой Тоглук-Тимура, знаменитого джагатайского султана, при котором началось небывалое возвращение Тамерлана на политическое поприще. Здание мазара отмечено прекрасной постройкой, но ныне купол уже провалился. Сама гробница своими громадными размерами поражает воображение каждого, но сейчас она находится в жалком состоянии. Когда-то богато украшенная, гробница ныне грязно обмазана простою глиною, зато её фронтон до сего времени покрыт глазурованными кирпичами чудной работы... Что за цвета и краски, что за прекрасная форма всего строения! – не раз восхищался я. Мне даже хотелось вынуть несколько образцов цветных кирпичей, и, конечно, местные жители охотно исполнили бы это [за плату], но я не пошел на такое варварство, ограничившись приобретением нескольких обломков... Сколько мне известно, ни в одном из наших [отечественных] музеев нет образцов цветной глазури с этого памятника эпохи Тамерлана.

Мне пришлось оставить осмотр этого памятника истории в тот момент, когда уже стали трубить сбор, а наш отряд – выстраиваться для обратного движения на Борохудзир, до которого было примерно 150 верст. Как только казаки, сторожившие ворота, отошли от них, чтобы присоединиться к нам, оттуда стали выезжать один за другим вооруженные всадники. Сначала проделав разные воинственные эволюции, они затем становились в строй, построенный по определенной схеме. Наконец, из ворот выехал на площадь сам военачальник, имевший над головой белый значок, и весь отряд принял прямо угрожающее нам построение. Тем временем со всех сторон начали прибывать правильно организованные в сотенные отряды люди, вооруженные преимущественно копьями и шашками (ружей было мало).

Лишь только мы тронулись в обратный путь, все эти отряды двинулись вслед за нами с очевидным намерением «развлечь скуку» нашего отступления маленьким [нетеатральным] представлением. Неприятель начал планомерно окружать нас сплошным кругом, при этом появилось множество других значков разного цвета. Один из них — ярко-красный представлял, скорее всего, большое знамя и по своей величине, и по той громадной толпе, которая его окружала. С дикими криками, визгом и гиканьем они старались обскákat нас и окружить. Но тут раздалась русская команда: «Орудие с передков!» В результате не столь самый снаряд (ядро), сколько громовой пушечный выстрел мгновенно обратил в бегство всю вражескую рать. Однако состояние растерянности противника продолжалось недолго. Оправившись от первого страха, его всадники вновь загарцевали, снова гикая пуше прежнего.

Я ехал с моим казаком поодаль от своего отряда, и, признаться, меня отчасти забавляло подпускание к себе неприятельских джигитов на самое близкое расстояние. Когда они, не видя моего оружия, приближались ко мне и уже поднимали копыта для нанесения удара, я направлял свой карманный револьвер... прямо в первого смельчака, шелкал курком и, пригнувшись к седлу, стрелял. После неудачных попыток захватить меня неожиданной атакой они продолжали подлетать ко мне, но уже менее стремительно, держась от меня на более почтительном расстоянии. «Кель мунда!» («Ступай сюда!») — кричали они, махая рукой и добавляя к крику крепкое ругательство. «Ех, сан мунда кель!» («Ты [сам] ступай сюда») — отвечал я, тоже прибавляя, каюсь, не менее соленое словечко. Судя по всему, это была первобытная борьба «один на один», которая всегда предшествовала серьезной схватке, решавшей судьбу [поединка] в древние времена. В данном же случае обеим сторонам недоставало только богов, ободряющих и направляющих действия каждого участника боя.

Туземцы, видимо, держались известного правила: они всячески дразнили нас словами и разными движениями, чтобы вызвать с нашей стороны преждевременный выстрел, после чего, увильнув от пули, смело бросались вперед с шашкою наголо или с пикою наперевес. Однако мой шестизарядный револьвер сбивал с толку приверженцев подобной тактики.

Казак мой, однажды не стерпев, рано выстрелил по весьма надоевшему молодцу. Не успев зарядить ружье, он так сильно растерялся, что даже от страха побежал прочь, когда джигит с пикою налетел на него. Лишь выстрелом из револьвера мне удалось отвести серьезный удар мусульманина. Выбрав момент, я стал упрекать казака:

– Как тебе не стыдно бежать от такого вояки! – воскликнул я.

– Ведь мое ружье было разряжено, Ваше Высокоблагородие. А шашкой разве можно оборониться от пики! – отвечал он, немного смущаясь.

– Зачем тебе заряжать?! Ты только сделай вид, что зарядил ружье. Хлопни по нему и прицелься. Потом только посмотри, как побежит твой враг, – посоветовал я.

Вышло до смешного точно так, как было мною сказано. Как только мы поехали быстрее, чтобы догнать свой отряд, несколько джигитов бросилось вслед за нами. Выбрав удобный момент, казак остановился. Хлопнув по своему незаряженному стволу, он прицелился в жоака. Только мы и видели, как противник стал удирать.

Через некоторое время наше положение вновь стало опасным. Нас со всех сторон всё чаще стали обгонять, окружать и теснить, поскольку путь для нашего отступления был уже отрезан. С гиком, визгом и гамом тысячи конного люда постоянно кружили вокруг нас на расстоянии ружейного выстрела. По-видимому, посланные противником в разные концы гонцы успели оповестить окрестное население о нашей малочисленности, чтобы с помощью смельчаков уничтожить нас и забрать [собранный нами] скот.

Между тем отдельные джигиты и целые группы всадников всё ближе подсакивали к нам, одновременно пытаясь отделить хотя бы часть баранов от общего стада. Если бы к нам не подошли наши солдаты, находившиеся к

этому времени по сторонам нашего маршрута на больших интервалах друг от друга, нашим казакам вряд ли удалось сбегать [общее] добро.

Кстати сказать, многие казаки оказались на поле боя в первый раз, поэтому чувствовали себя неуверенно. К тому же им порой не хватало дисциплины, о чем говорит, например, такой факт. Когда одному взводу было дано задание завязать перестрелку с близь находившимся противником, прибывшие к указанному месту казаки выполняли приказания довольно медленно, а постреляв несколько минут, возвратились назад. Сделав выговор [командиру] взвода за слишком вялые действия его подчиненных, начальник отряда был вынужден с той же целью послать людей из другого взвода. Но дела у последнего сложились столь же неудачно. Этому отделению было приказано отъехать намного далее, но оно забралось слишком далеко. Не услышав сигнала, призывавшего к возвращению назад, эта группа продолжала уходить всё дальше и дальше, пока наконец не столкнулась с огромной массой неприятеля. Не сделав перегруппировки сил, казаки пустились назад крупной рысью, поэтому, когда противник с гиканьем ударил в спину, они бросились кто куда... Некоторые из них, сбитые пиками с лошадей, бежали по полю вприпрыжку, словно зайцы... С криком: «Стой! Стой, такие-сякие!» я поскакал наперерез [бегущим] и, влетев в середину взвода, оказался в самой гуще боя. Один раненый, проткнутый пикою в грудь, кричал благим матом, но продолжал бежать. Другой, вцепившись в направленную на него пикою, на бегу же просто тащил за собою всадника... Таранчи и киргизы наотмашь рубили отступавших.

Первой наградой, полученной мною за вмешательство в ход боя, стал [тяжелый] удар пикою по голове, однако благодаря моей гладкой бровевой шапочке он соскользнул с нее. Если бы не это случайное обстоятельство, этот удар оглушил бы меня и, конечно, вышиб из седла! Я выстрелил в упор, но джигит ловко увернулся и вновь бросился на меня с пикой наперерез. За ним следовал другой джигит и, наконец, третий... Крепко обозлившись за удар по голове, я уже собирался выпустить по нападавшим два-три заряда из пистолета, как вдруг кто-то схватил меня сзади, за руки, и я, резко обернувшись назад, увидел перед собой добрейшего Ф., нашего казачьего сотника, который едва успел крикнуть мне: «Бога ради стойте, [иначе] вас непременно прибьют». В тот же момент прозвучал сигнальный рожок, призывавший нас немедленно следовать к отряду. Поэтому ответный удар поневоле пришлось отложить, как ни хотелось дать сдачи...

Нашей лучшей защиты – пехоты в это время было очень мало, потому что из 30 человек десять остались для охраны ворот у стен крепости Чампандзы. Это, впрочем, было разумно, так как в случае захвата неприятелем данного укрепления, через которое шла дорога, нам пришлось бы совсем плохо. Перебегая с одного места на другое по гребням стен и отстреливаясь во все стороны, солдатики серьезно охлаждали воинственный пыл наседавшего противника, нет-нет да и выбивая из седла наиболее активных смельчаков. Большим плюсом и счастьем для нас было то, что у нашего противника было мало огнестрельного оружия, и наш выход из города и продвижение к нашей границе они могли осложнить или затормозить, только

действуя против нас огромною грубою силою – массою вооруженных людей, которым, однако, не хватало большей решимости.

С огромным, чрезмерно растянувшимся овечьим стадом мы выступили из города и вышли на ровную поляну, когда было получено приказание от начальника отряда остановиться: «Будем-де здесь ночевать». Что [это] за вздор, решили мы с Эманом; мыслимо ли защищаться в этих разоренных [междоусобицами] местах, возможно ли теперь повернуть назад наших четвероногих, а главное – неужели нужно дожидаться того, чтобы к завтрашнему утру собралось вокруг нас всё кульджинское население, и тогда нам вряд ли удастся не только угнать баранов, но и самим уйти. Поэтому мы решили ускоренным темпом продвигаться к реке Хоргос, где кроме воды был просторный, защищенный оградой двор, тот самый, в котором обосновался наш обоз под прикрытием остальных 30 солдат...

Думаю, что всё обошлось бы благополучно, если бы Эману не вздумалось... приказать своим солдатам оставаться на месте в ожидании начальника отряда. Иначе говоря, он таким образом лишил наш авангард единственной поддержки, способной внушить страх неприятелю, в результате чего вся многочисленная масса животных, растянувшаяся уже на расстоянии двух верст, осталась без надежной защиты, состоявшей из нескольких перепуганных до полусмерти китайцев с их [традиционными] луками и стрелами, нас, двух офицеров и нескольких казаков, причем из последних шести осталось только трое...

– А ведь сейчас по нам ударят! – возможно спокойнее сказал я своему товарищу.

– Вряд ли это случится! – хладнокровно, с расстановкою [слов] ответил финляндец. На одном привале он потерял свои очки и теперь тщетно поворачивал [в сторону противника] голову, так как его близорукие глаза ничего [впереди] не видели – далее нескольких сажень.

– Вот посмотрите, сейчас ударят, – повторил я.

– Да где же вы их видите?

– Как где! Это то, что кругом нас, – сказал я, указывая в сторону огромной толпы людей, подступавшей к нам.

– Разве это неприятель? Представьте себе, ведь я думал, что это кусты.

– Неужели вы до такой степени плохо видите? – [с удивлением] спросил я.

– Да. Помните ли вы место в Сассах, где мы [на привале] закусывали? Там я и оставил свои очки.

Ну, думаю, хорошо же иметь в такой ситуации такого «зрячего» своим боевым товарищем.

– А это что же такое? Эти высокие предметы – не деревья ли? – вновь спросил меня Эман.

– Нет, это [боевые] знамена. Посмотрите, сколько их тут...

Только я успел послать одного из бывших с нами трех казаков к начальнику отряда с известием об опасности, угрожающей и нам, и нашему стаду, как всё кругом дрогнуло, застонало, и конные джигиты со страшным свистом, потрясая в воздухе шашками и копьями, стремительно понеслись на

нас. Признаюсь, минута была жуткою. Эман с шашкою, а я с револьвером, уже не гарцуя на лошадях, а прижавшись друг к другу, [вместе с казаками] готовы были с криком «ура» броситься в бой. Без сомнения, [противник] сделал бы из нас отбивные котлеты, как это случилось с одним нашим казаком, но нам удалось спастись благодаря тому, что он больше зарился на наш скот, а не на нас самих. Во-вторых, Эман, а за ним и я свалились с лошадей. Сослепу мой товарищ заехал в ров и, перелетев через голову коня, крепко ударился своим телом о землю, причем так, что неподвижно растянулся на ней. Моя лошадь тоже споткнулась на этом месте, и я также слетел с неё, однако успел удержать в руке узду. Встав над телом своего товарища, лежавшего без признаков жизни, и держа левою рукою поводья своей лошади, я правою рукою стал отстреливаться от мигмом налетевших со всех сторон всадников. Окружив меня, они так и норовили рубануть меня шашкою или проколоть пикою, но каждый мой выстрел либо щелчок курка револьвера удерживал их от подобного намерения. Желая не подпустить всадников слишком близко к себе, я едва успевал движением револьвера отгонять то одного, то другого. Был даже такой момент, когда двое джигитов, атакуя со стороны лежавшего на земле моего товарища, поднимали передо мной пики, третий хотел нанести ему удар сбоку, а четвертый и пятый пытались атаковать меня сзади.

Как только я не поседел в эту ужасную минуту! Признаться, я тогда подумал, что Эман [специально] ловко притворился убитым, но, как он рассказывал мне позднее, он при падении с лошади страшно ушибся и только в полузабытьи чувствовал, как кто-то ходит или ездит по нему.

В том памятном бою я выпустил только четыре пули из револьвера и, понимая, что пропаду, если буду продолжать стрельбу, старался больше страшить своим оружием противника. Между тем пики все ближе приближались ко мне с разных сторон, и даже можно было различить исковерканные злостью физиономии нападавших, скаливших зубы и изрыгавших ругательства... Затрудняюсь сказать, как долго продолжалась роковая ситуация. Тогда мне-то лично казалось, что [очень] долго, хотя в сущности весь этот эпизод, видимо, занял не более трех-пяти минут, после чего всё вдруг отхлынуло и понеслось прочь так же быстро, как нахлынуло.

Едва лошадь Эмана без седока пронеслась мимо оторопевших от удивления наших солдат, как они, полагая, что ротного убили, с криком: «Братцы, выручай наших!», бросились вперед к нам на помощь. Вскоре появилось орудие, которое солдаты лихо сняли с передков, и после первого же пушечного выстрела на поле боя не осталось ни одного всадника неприятеля, причем не только около нас, но и около баранов, которых местные жители пытались угнать, но безуспешно.

Надобно еще раз повторить, что все вышесказанное произошло очень быстро и сопровождалось сильнейшим гамом: с бранью налетели на нас таранчи и неподвластные нам киргизы; с бранью я отстреливался [и угрожал револьвером], с бранью стреляли из пушки наши солдаты. Наконец, с бранью же потом взмахнул шашкою и Эман, когда, очнувшись от удара при падении с лошади, вскочил на ноги... С удо-

вольствием вспоминаю, как Эман бросился ко мне на шею и как славно мы расцеловались. В нескольких словах он поведал, как, словно во сне, ему мерещилось, как его топчут [какие-то люди], но никак не мог подняться, пока не пришел в сознание.

Надобно здесь заметить, что именно эта атака послужила мне живым примером при написании будущих картин: «Нападают врасплох» и «Окружили – преследуют». Офицер с саблею наголо, ожидающий нападения (в первой из этих картин), в некоторой степени передает мое состояние [духа], когда я, понимая серьезность роковой ситуации, решил, если возможно, отстреливаться, а если нет, то не дать себя в руки налетевшей на нас «орде». Конечно, многое в этих картинах изменено. Кое-что взято, например, из услышанного мною в свое время рассказа о неожиданном нападении небезызвестного Садыка на посланный на его розыски русский отряд, что случилось еще до приезда моего в Туркестан. Но и этот факт я использовал не целиком, а заимствовал только нужное. Мне нередко приходилось слышать нарекания вроде того, что картины мои – небывальщина и даже клевета на храброе туркестанское воинство. Даже разумный, добрый и расположенный ко мне генерал [К.П.] Кауфман публично упрекал меня в том, что я «слишком даю волю своему воображению» и «всё сочинил»...

Между прочим, казака, бывшего с нами тогда, почти совсем порубили, буквально искололи и иссекли. Когда его подняли, он еще дышал. Мы положили его на ящик для [пушечных] зарядов вместе с другими ранеными, но бедняга-воин вскоре умер. Перед смертью он поднес ко рту изувеченную правую руку с перерубленными пальцами, да и так застыл навсегда. Жутко было смотреть на его вытянутую фигуру, держащую кольцом зачоченевшую руку перед самым носом, словно в насмешку...

Когда мы подошли к первым рукавам реки Хоргос, начало смеркаться. Наконец-то дошли до сравнительно безопасного места. Выстрелов из орудий уже не было слышно в [нашем] тылу, но солдаты, шедшие в цепи, всё еще постреливали по сторонам для самоободрения... С великим трудом и, нечего говорить, с огромным шумом мы переправили через реку баранов (наши трофеи) и загнали их в специально отгороженное место. С помощью ограды наш майор тотчас соорудил укрепление, которое было недоступно не только преследовавшим нас воинам, но и целым полчищам им подобных. Вдоль стен – внутри и снаружи – были размещены стрелки, казаки поставлены в боевой порядок, а орудие установлено в воротах. Эта предосторожность оказалась не лишней, так как за наступившей было передышкой, когда уже стемнело, вдруг раздался со всех сторон невообразимый визг и адский шум многотысячной толпы...

После бивуака в Сассах, на том же месте, где, к великой радости Эмана, наконец нашлись его очки, мы без дальнейших приключений добрались до Борохудзиро [на нашей границе]⁵.

Как видно из рассказа В.В. Верещагина, во время его третьей поездки в Илийский край (в сторону Кульджи) ему почти не приходилось серьезно заниматься живописью, которой он был всецело поглощен в

период пребывания в Чугучаке и отчасти в Аккенте. Однако в памяти художника отчетливо сохранились многие детали военной экспедиции россиян против грабителей-барантовщиков, угнавших лошадей и отары овец с российской территории за границу. Если бы вражеский удар пикою по голове не соскользнул по меховой шапке художника, трудно представить, чем бы закончился для него этот эпизод, связанный с его рискованным решением еще раз посетить малоизвестный россиянам Илийский край. Тем не менее участие в ответной акции российской пограничной стражи произвело на В.В. Верещагина сильное впечатление, столь необходимое всякому живописцу для изображения батальных сцен.

Наблюдения над жизнью многонационального населения Илийского края в результате трехкратного посещения его пограничных с Россией районов позволили художнику собрать уникальный этнографический материал, ставший важным подспорьем для его будущей коллекции картин и этюдов, получившей впоследствии название «туркестанская». В последнюю, естественно, вошли ранее написанные В.В. Верещагиным полотна, показанные им в Петербурге в 1869 г. С учетом живописных работ, выполненных художником во время службы в Средней Азии, генерал-губернатор К.П. Кауфман в качестве командующего войсками Туркестанского военного округа 24 октября 1870 г. направил военному министру Д.А. Милютину ходатайство о командировании В.В. Верещагина в Европу на два года для завершения художественных полотен, отражающих жизнь и быт жителей недавно созданного в Средней Азии нового административного региона Российской империи. В письме К.П. Кауфмана из Ташкента в Петербург по этому поводу говорилось:

«С открытием Туркестанского генерал-губернаторства коллежский регистратор Верещагин по моему назначению занимался исключительно собиранием материалов для изучения быта вверенного мне края.

Некоторые картины г-на Верещагина, снятые им с природы, были выставлены на Туркестанской выставке, устроенной в прошлом, 1869 году, и удостоились внимания Государя Императора.

Ныне у г-на Верещагина накопилось значительное количество материалов, требующих окончательной доработки. Желая предоставить г-ну Верещагину возможность привести к окончанию [свой] труд, который наглядным образом может познакомить цивилизованный мир с бытом малоизвестного народа и обогатить науку важными для изучения [нашего] края материалами, я назначил г-ну Верещагину содержание по 3000 руб. в год из доходов Зеравшанского округа и сим ходатайствую об отправлении его за границу на два года с сохранением сего содержания для окончания [его] работ.

Вместе с тем, желая извлечь наибольшую пользу из таланта и из уже совершённых трудов г-на Верещагина, имею честь покорнейше просить ходатайства Вашего Высокопревосходительства пред Государем Императором о разрешении на отпуск ему из доходов Зеравшанского округа собственно на издание альбома картин с текстом к нему до 10 тыс. руб. По этой сумме г-н Верещагин будет обязан представлять подробные отчеты, а самые деньги [следует] отпускать ему по ходу заказов»⁶.

После того как доклад Д.А. Милютин по согласованию с министром финансов 1 декабря 1870 г. был утвержден царем, В.В. Верещагин, получив 11 декабря заграничный паспорт в Петербурге, отправился в Европу, где надолго обосновался в Мюнхене для обработки своих этюдов туркестанского периода. Столкнувшись с финансовыми затруднениями во время напряженной творческой работы и особенно с изданием альбома картин туркестанского цикла, художник обратился в военное ведомство с просьбой о присылке ему обещанных денег, послав в Петербург прошение без указания адресата – должности и фамилии лица, способного решить финансовый вопрос, касающийся перевода казенной суммы за границу. Вот что он писал по этому поводу, адресуя свое письмо в Главный штаб: «Милостивый государь! Извините, что я обращаюсь к Вам с делом, до Вас прямо не относящимся, и изволю надеяться, что Вы не откажетесь сделать, что найдете возможным. Через Ваши руки прошла просьба генерала Кауфмана о дозволении дать мне 10 тыс. [руб.] на издание альбома моих работ. Представьте себе, что до сих пор я не получил еще ничего из этих денег. Между тем в августе оканчивается срок моего пребывания за границей, и с тем вместе уничтожается возможность что-либо предпринять. Мне тем более досадно, что, понадеявшись на эти 10 тыс., я отказался от услуг частных издателей и рискую теперь вовсе не сделать издания ни на казенные, ни на частные средства.

Я писал генералу [А.И.] Гомзину, но получил от него только содержание на второй год пребывания за границей. Об 10 же тысячах – ни ответа ни привета.

Из Ташкента на свои письма ответа не получил и решительно не знаю, как выйти из неловкого положения, тем более что в Петербурге не имею никого, к кому мог бы обратиться за справкою.

Я еще раз повторяю мою просьбу извинить за беспокойство и, буде возможно, сделать что-либо по моей просьбе... [P.S.] Позвольте просить Вас ответить мне в возможно скором времени по адресу: München, Leisenstrasse 49»⁷.

После получения последних трех тысяч рублей из десяти, ассигнованных казной, В.В. Верещагин в сентябре 1873 г. приехал на несколько дней в Петербург для получения нового заграничного паспорта в связи с продлением ему заграничной командировки на один год для завершения работ по изданию туркестанского альбома⁸. По просьбе художника, выразившего желание выставить свои художественные полотна в России, начальник Главного штаба граф Ф.Л. Гейден 27 сентября 1873 г. обратился к Н.А. Качалову, директору Департамента таможенных сборов Министерства финансов, с просьбой о льготном досмотре картин В.В. Верещагина при привозе их на российскую границу из Лондона и Мюнхена, где они успешно экспонировались для местной публики. В этом письме сообщалось: «Г-н Верещагин окончил ныне свои [живописные] работы и отправляет свои картины в Петербург в двух партиях: из Лондона и Мюнхена. Первая партия должна была отправиться в 20-х

числах сего месяца, а вторая – в первых числах наступающего октября. Ввиду того, что эти картины предполагается представить Государю Императору, они везутся сюда в полной отделке, в золотых рамах». Предлагая освободить упомянутые картины от таможенного осмотра и не взимать пошлин с позолоченных рам, руководитель Главного штаба в своем письме подчеркивал, что эти картины «не собственность г-на Верещагина, а сделаны на счет отпущенных ему казенных средств»⁹.

Выставка картин В.В. Верещагина в Петербурге и Москве в 1874 г. произвела настоящий фурор не только среди профессиональных художников, но и в широких кругах российской общественности. Она превзошла все ожидания художника, который благодаря ей стал живописцем не только известным, но и знаменитым. Вот как оценивали раннее творчество художника его современники-россияне. Известный автор газетных статей о художественных выставках в России журналист Н. Брешко-Брешковский в статье «В.В. Верещагин», опубликованной в утреннем выпуске «Биржевых ведомостей» от 4/17 апреля 1904 г., сообщал: «Когда он (Верещагин) выставил свою кошмарную серию туркестанских картин и этюдов, где зафиксировал своей беспощадной кистью войну с её ужасами, повалившая [на выставку] густыми толпами публика увидела, что слащавым, парадным батальям Коцебу и Виллевалда пришел конец... *В течение четырех десятилетий он систематически внушал отвращение и будил негодование к жестокой и кровавой человеческой бойне, именуемой войною...* „Всё с натуры, и ни одного мазка от себя” – было его девизом. Где он только не искал [сюжеты] для своих этюдов! На длинной веревке его спускали в легендарные азиатские „клоповники”, где заживо гниют люди... и, задыхаясь от ужасной атмосферы, он изучал, как узенькая, почти вертикальная полоса света „играет” на липком и топком дне клоповника, на грудях черепов, на изуродованных проказою и паршами головах обезумевших, обратившихся в жалких скотоподобных узников этих темниц, придумать которые могла только жестокая фантазия азиата (здесь и далее курсив мой. – А.Х.)».

Не менее ярко и убедительно о выставке ранних работ В.В. Верещагина писал В.И. Сизов, преподаватель театрального училища и заведующий библиотекой Исторического музея в Москве. В статье, появившейся 10 мая 1904 г. на страницах газеты «Русские ведомости», он рассказывал: «Мне пришлось познакомиться прежде с произведениями художника, чем с самим художником. Выставленные им картины и рисунки из Самарканда и вообще Средней Азии в то время на многих произвели сильное и вместе с тем странное впечатление: *эти картины и рисунки открыли целый новый мир, характерно и ярко представленный во всей правде.* В первый раз можно было, засматриваясь на эти картины, понять реальный характер войны: здесь груды черепов среди пустыни посвящались всем „завоевателям”; там – сложенные в кучу головы русских солдат – трофеи наших врагов – указывали на характер [противника] – узбеков, сартов... В общем картины захватывали зрителя своей неотразимой правдой и вместе новизной впечатлений... *Верещагин, изображая войну реально и правдиво, как*

художник-воин, переживший сам моменты былой жизни, несомненно будил в зрителе гуманные чувства и давал истинное понятие о войне...

Незадолго до начала войны с Японией я встретился с ним на Кузнецком мосту. Он ехал в своих обычных саночках, правя сам лошадью. Заметив меня, он остановился и после разговоров об Японии, откуда он [еще] недавно вернулся, прощаясь со мною, настойчиво повторял мне вслед: „Война будет! Война будет!” Это были для меня его последние слова.

По словам его родственника, известия о первом нападении японцев на П.-Артур страшно его поразили: он схватился обеими руками за голову и зашагал быстро по мастерской, [произнося]: „Ай-ай-ай! Какое известие ты мне принес!..” Я не знал [тогда] об его решении ехать на Дальний Восток, но, узнав о назначении Куропаткина и зная пылкий характер покойного Верещагина, я был твердо уверен, что он отправится на войну».

На фоне вышеприведенных высказываний представителей российской интеллигенции интересным и важным представляется мнение журналиста, писавшего под псевдонимом «А.В. С-н» заметки и репортажи о художественных выставках. В статье «Живописец войны. Памяти Верещагина», помещенной 18 апреля 1904 г. в газете «Русские ведомости», он указывал: «С именем Василия Васильевича Верещагина связано представление об оригинальной и сильной личности, выступившей в своей художественной деятельности с горячим протестом против ужасов войны. В отличие от своих предшественников-баталистов, идеализировавших войну и [исключительно] изображавших стройные движения колонн войск или блестящие кавалерийские атаки, он в целом ряде картин дал реальное изображение поля боя и отдельных моментов сражений. Он всегда будет стоять впереди всех и предшествовавших и современных ему русских баталистов, отличаясь не только безукоризненной техникой и правдивостью трактовки сюжетов, но и своими гуманными идеями... в Мюнхене [Верещагин] написал большую часть своих туркестанских картин, часть которых в 1873 г. выставил в Лондоне. Здесь они пользовались большим успехом. Вся его [тогдашняя] коллекция состояла из 121-го номера. В 1874 г. она была выставлена в Петербурге. Публика обратила особое внимание на картины „После удачи”, „После неудачи”, „Опиумеды”, „Бача со своими поклонниками”...»¹⁰.

Чтобы не излагать многочисленные отзывы российских центральных и местных газет о В.В. Верещагине в связи с его трагической гибелью 31 марта 1904 г. на броненосце «Петропавловск» около Порт-Артура в период русско-японской войны, ограничимся нижеследующей выдержкой из объемистой статьи, помещенной 3/16 апреля 1904 г. в популярной столичной газете «Новое время»: «Под кистью Верещагина живопись впервые пламенно вознегодовала на зверства войны, пытаясь возбудить сострадание к ее жертвам... Он утверждал: „Я никогда не видал правдивых картин битв. Когда я взялся за свою задачу, я твердо решил представить всё так, как оно есть в действительности. И что я видел, то передал настолько добросовестно, насколько мне это было возможно. В войне лишь 10% победы, а 90 процентов – страшных увечий, холода, голода, жестокости,

отчаяния и смерти в самых поразительных её проявлениях... Кто сам видел ужасы разрушения и сцены сострадания, тому едва ли придет на мысль находить победу столь возвышенной и красивой, потому что зрелище крови, стоны раненых и хрипение умирающих должны наполнять сердце глубокой скорбью“».

Примечания

¹ Как видно из сообщения петербургской газеты «Новое время» от 28 марта 1869 г., выставка картин, этюдов и рисунков В.В. Верещагина, характеризующих быт разных народов Средней Азии, открылась 27 марта, причем помимо работ художника на ней экспонировались предметы зоологической и минералогической коллекции Н.А. Северцева, а также вещи, принадлежащие другим исследователям Туркестанского края. Как отмечала газета, выставка должна была работать в течение трех недель.

² Подробнее см.: *Хохлов А.Н.* Поездка В.В. Верещагина в Чугучак в 1869 г. Неизвестные страницы путешествий русского художника по Центральной Азии // «Восточный архив», № 11–12, 2004, с. 3–11.

³ См.: *В.В. Верещагин.* Борохудзир. Набег (рукопись). – ГТГ, ф. 17, ед. хр. 1628, л. 4–5. Как сюжет для более поздней литературной публикации, эта рукопись, представляя собою самостоятельную работу В.В. Верещагина, была отчасти использована им при написании книги под названием «На войне в Азии и Европе. Воспоминания художника В.В. Верещагина» (М., 1894, с. 56 и сл.).

⁴ В связи с распространением в 60–70-х годах XIX в. дунганского восстания на территорию Западного Китая, сопредельную с Туркестанским краем, правительство России, строго придерживаясь политики невмешательства во внутренние дела цинского Китая, не раз предписывало администрации пограничных областей всячески избегать любых действий, способных нарушить спокойствие на русско-китайской границе. Об этом свидетельствуют многие материалы переписки российского внешнеполитического ведомства, отложившиеся в Архиве внешней политики Российской империи (АВПРИ). Так, директор Азиатского Департамента МИД в письме к Ф.Л. Гейдену, возглавлявшему Главный штаб военного министерства, 22 апреля 1867 г. указывал: «По мнению Министерства Иностранных дел было бы в особенности желательно внушить по возможности всем начальникам пограничных отрядов крайнюю осмотрительность во всех действиях, имеющих отношение к... населению Западного Китая. Какое-либо неосторожное действие легко может подать повод к открытой вражде и заставить нас предпринять непрерывные экспедиции» (АВПРИ, ф. Главный архив I–9, оп. 8, 1863, д. 12, п. 4, л. 40).

Данной позиции нейтралитета в отношении цинского Китая, охваченного восстаниями некитайских народов, Россия придерживалась и в последующие годы. Одобряя меры К.П. Кауфмана по наведению на русско-китайской границе такого порядка, который бы соответствовал достоинству российской державы, Ф.Р. Остен-Сакен, один из видных руководителей Азиатского Департамента, 6 марта 1870 г. писал Ф.Л. Гейдену: «Если в чрезвычайных случаях и может представиться необходимость принимать решительные меры для наказания вторгающихся в наши пределы шаек грабителей и барантачей, то, с другой стороны, как весьма справедливо замечает туркестан-

ский генерал-губернатор [Кауфман], наша главная задача должна состоять в том, чтобы мирным путем стараться водворить полное спокойствие в наших пределах с Западным Китаем. Неуклонное стремление к этой цели будет служить лучшим залогом развития благосостояния пограничных жителей и прочного их с нами сближения» (АВПРИ, ф. Главный архив I–9, оп. 8, 1863, д. 12, п. 5, л. 113).

Столь же определенно политика невмешательства России во внутренние дела цинского Китая выражена в письме военного министра Д.А. Милютина на имя К.П. Кауфмана, отправленном из Москвы 9 июня 1872 г. В этом письме говорилось: «Вашему Превосходительству хорошо известна неоднократно повторенная воля Государя Императора о том, чтобы начальники наших пограничных областей, равно как и начальники выставленных вдоль границы наших отрядов, не позволяли себе самовольных переходов с вооруженною силою за границу, не будучи вызванными к тому открытым нападением на нашу территорию» (АВПРИ, ф. Главный архив I–9, оп. 8, 1872, д. 9, л. 81–82).

⁵ ГТГ, ф. 17, ед. хр. 1628, л. 1–19.

⁶ РГВИА, ф. 400, оп. 1 [1870 г.], д. 236, л. 1–2.

⁷ Там же, л. 20.

⁸ О продлении заграничной командировки на один год В.В. Верещагину сообщил генерал А.И. Гомзин, который 16 июня 1872 г. писал художнику из Ташкента: «Господин Главный начальник Края, имея в виду Ваше заявление о том, что работы по изданию альбома картин из быта Туркестанского края могут быть окончены не ранее будущего года, изволил войти в сношение с г-ном военным министром об исходатайствовании Высочайшего разрешения Государя Императора на продление срока пребывания Вашего за границей еще на один год, считая с 1-го сентября сего года, с сохранением получаемого Вами ныне содержания – из оклада 3000 руб. в год» (ГТГ, ф. 17, ед. хр. 1209, л. 1).

⁹ РГВИА, ф. 400, оп. 1 [1870 г.], д. 236, л. 70.

¹⁰ Весьма ценным руководством при определении характерных черт творческой палитры В.В. Верещагина в туркестанский период может служить изданный в 1874 г. в Петербурге альбом под названием: «Туркестан. Этюды с натуры В.В. Верещагина, изданные по поручению туркестанского генерал-губернатора на Высочайше дарованные средства. Альбом из 26 листов с 106 рисунками».

Сокращенные названия архивов и музеев

АВПРИ – Архив внешней политики Российской империи

РГВИА – Российский государственный военно-исторический архив

ГТГ – Государственная Третьяковская галерея, Отдел рукописей